

Верочка

Иван Алексеевич Огнев помнит, как в тот августовский вечер он со звоном отворил стеклянную дверь и вышел на террасу. На нем была тогда легкая крылатка и широкополая соломенная шляпа, та самая, которая вместе с ботфортами валяется теперь в пыли под кроватью. В одной руке он держал большую вязку книг и тетрадей, в другой толстую, суковатую палку.

За дверью, освещая ему путь лампой, стоял хозяин дома, Кузнецов, лысый старик с длинной седой бородой и в белом, как снег, пикейном пиджаке.

Старик благодушно улыбался и кивал головой.

Прощайте, старче! крикнул ему Огнев.

Кузнецов поставил лампу на столик и вышел на террасу. Две длинные, узкие тени шагнули через ступени к цветочным клумбам, закачались и уперлись головами в стволы лип.

Прощайте, и еще раз спасибо, голубчик! сказал Иван Алексеич. Спасибо вам за ваше радушие, за ваши ласки, за вашу любовь... Никогда, во веки веков не забуду вашего гостеприимства. И вы хороший, и дочка ваша хорошая, и все у вас тут добрые, веселые, радушные... Такая великолепная публика, что и сказать не умею!

От избытка чувств и под влиянием только что выпитой наливки, Огнев говорил певучим семинарским голосом и был так растроган, что выражал свои чувства не столько словами, сколько морганьем глаз и подергиваньем плеч.

Кузнецов, тоже подвыпивший и растроганный, потянулся к молодому человеку и поцеловался с ним.

Привык я к вам, как легавый! продолжал Огнев. Почти каждый день к вам шлялся, раз десять ночевал, а наливки выпил столько, что теперь вспоминать страшно. А главное, за что спасибо, Гавриил Петрович, так это за ваше содействие и помощь. Без вас я со своей статистикой до октября бы тут возился. Так и напишу в предисловии: считаю долгом выразить мою благодарность председателю N-ской уездной земской управы Кузнецову за его любезное содействие. У статистики бле-есящая будущность! Вере Гавриловне нижайший поклон, а докторам, обоим следователям и вашему секретарю передайте, что никогда не забуду их помощи! А теперь, старче, обымем друг друга и сотворим последнее лобзание.

Раскисший Огнев еще раз поцеловался со стариком и стал спускаться вниз.

На последней ступени он оглянулся и спросил:

Увидимся еще когда-нибудь?

Бог знает! ответил старик. Вероятно, никогда!

Да, правда! В Питер вас и калачом не заманишь, а я едва ли еще попаду когда-нибудь в этот уезд. Ну, прощайте!

Вы бы книги тут оставили! крикнул ему вслед Кузнецов. Что вам за охота тащить такую тяжесть? Я вам завтра их с человеком прислал бы.

Но Огнев уже не слушал и быстро удалялся от дома. На душе его, подогретой вином, было и весело, и тепло, и грустно... Он шел и думал о том, как часто приходится в жизни встречаться с хорошими людьми и как жаль, что от этих встреч не остается ничего больше, кроме воспоминаний. Бывает так, что на горизонте мелькнут журавли, слабый ветер донесет их жалобно-восторженный крик, а через минуту, с какою жадностью ни вглядывайся в синюю даль, не увидишь ни точки, не услышишь ни звука так точно люди с их лицами и речами мелькают в жизни и утопают в нашем прошлом, не оставляя ничего больше, кроме ничтожных следов памяти. Живя с самой весны в N-ском уезде и бывая почти каждый день у радушных Кузнецовых, Иван Алексеич привык, как к родным, к старику, к его дочери, к прислуге, изучил до тонкостей весь дом, уютную террасу, изгибы аллей, силуэты деревьев над кухней и баней; но выйдет он сейчас за калитку, и всё это обратится в воспоминание и утратит для него навсегда свое реальное значение, а пройдет год-два, и все эти милые образы потускнеют в сознании наравне с вымыслами и плодами фантазии.

В жизни ничего нет дороже людей! думал растроганный Огнев, шагая по аллее к калитке. Ничего!

В саду было тихо и тепло. Пахло резедой, табаком и гелиотропом, которые еще не успели отцвести на клумбах. Промежутки между кустами и стволами деревьев были полны тумана, негустого, нежного, пропитанного насквозь лунным светом, и, что надолго осталось в памяти Огнева, клочья тумана, похожие на привидения, тихо, но заметно для глаза, ходили друг за дружкой поперек аллей. Луна стояла высоко над садом, а ниже ее куда-то на восток неслись прозрачные туманные пятна. Весь мир, казалось, состоял только из черных силуэтов и бродивших белых теней, а Огнев, наблюдавший туман в лунный августовский вечер чуть ли не первый раз в жизни, думал, что он видит не природу, а декорацию, где неумелые пиротехники, желая осветить сад белым бенгальским огнем, засели под кусты и вместе со светом напустили в воздух и белого дыма.

Когда Огнев подходил к садовой калитке, от невысокого палисадника отделилась темная тень и пошла к нему навстречу.

Вера Гавриловна! обрадовался он. Вы тут? А я искал-искал, хотел проститься... Прощайте, я ухожу!

Так рано? Ведь еще одиннадцать часов.

Нет, пора! Идти пять верст, да еще укладываться нужно. Завтра рано вставать...

Перед Огневым стояла дочь Кузнецова, Вера, девушка 21 года, по обыкновению грустная, небрежно одетая и интересная. Девушки, которые много мечтают и по целым дням читают лежа и лениво всё, что попадается им под руки, которые скучают и грустят, одеваются вообще небрежно. Тем из них, которых природа одарила вкусом и инстинктом красоты, эта легкая небрежность в одежде придает особую прелесть. По крайней мере, Огнев, вспоминая впоследствии о хорошенькой Верочке, не мог себе представить ее без просторной кофточки, которая мялась у талии в глубокие складки и все-таки не касалась стана, без локона, выбившегося на лоб из высокой прически, без того красного вязаного платка с мохнатыми шариками по краям, который вечерами, как флаг в тихую погоду, уныло виснул на плече Верочки, а днем валялся скомканный в передней около мужских шапок или же в столовой на сундуке, где бесцеремонно спала на нем старая кошка. От этого платка и от складок кофточки так и веяло свободною ленью, домоседством, благодушием. Быть может, оттого, что Вера нравилась Огневу, он в каждой пуговке и оборочке умел читать что-то теплое, уютное, наивное, что-то такое хорошее и поэтичное, чего именно не хватает у женщин неискренних, лишенных чувства красоты и холодных.

Верочка была хорошо сложена, имела правильный профиль и красивые вьющиеся волосы. Огневу, который на своем веку мало видел женщин, она казалась красавицей.

Уезжаю! говорил он, прощаясь с нею около калитки. Не поминайте лихом! Спасибо за всё!

Тем же певучим семинарским голосом, каким он беседовал со стариком, так же моргая и подергивая плечами, стал он благодарить Веру за гостеприимство, ласки и радушие.

О вас писал я матери в каждом письме, говорил он. Если бы все такие были, как вы да ваш батя, то не житье было бы на свете, а масленая. У вас вся публика великолепная! Народ всё простой, сердечный, искренний.

Вы теперь куда едете? спросила Вера.

Теперь еду к матери в Орел, побуду у нее недельки две, а там в Питер на работу.

А потом?

Потом? Всю зиму проработаю, а весной опять куда-нибудь в уезд материалы собирать. Ну, будьте счастливы, живите сто лет... не поминайте лихом.

Больше не увидимся.

Огнев нагнулся и поцеловал Верочкину руку. Затем в молчаливом волнении

он поправил на себе крылатку, взял поудобнее вязку книг, помолчал и сказал: Туману-то сколько навалило!

Да. Вы у нас ничего не забыли?

Что же? Кажется, ничего...

Несколько секунд Огнев постоял молча, потом неуклюже повернулся к калитке и вышел из сада.

Постойте, я вас до нашего леса провожу, сказала Вера, выходя за ним.

Они пошли по дороге. Теперь уж деревья не заслоняли простора и можно было видеть небо и даль. Точно прикрытая вуалью, вся природа пряталась за прозрачную матовую дымку, сквозь которую весело смотрела ее красота; туман, что погуще и побелее, неравномерно ложился около копен и кустов или клочьями бродил через дорогу, жался к земле и как будто старался не заслонять собой простора. Сквозь дымку видна была вся дорога до леса с темными канавами по бокам и с мелкими кустами, которые росли в канавах и мешали бродить туманным клочьям. В полуверсте от калитки темнела полоса кузнецовского леса.

Зачем она со мной пошла? Ведь ее придется провожать назад! подумал Огнев, но, поглядев на профиль Веры, он ласково улыбнулся и сказал:

Не хочется уезжать в такую хорошую погоду! Вечер настоящий романический, с луной, с тишиной и со всеми онерами. Знаете что, Вера Гавриловна? Живу я на свете 29 лет, но у меня в жизни ни разу романа не было. Во всю жизнь ни одной романической истории, так что с рандеву¹, с аллеями вздохов и поцелуями я знаком только понаслышке. Ненормально! В городе, когда сидишь у себя в номере, не замечаешь этого пробела, но тут, на свежем воздухе, он сильно чувствуется... Как-то обидно делается!

Отчего же вы так?

Не знаю. Вероятно, всю жизнь некогда было, а может быть, просто встречаться не приходилось с такими женщинами, которые... Вообще у меня мало знакомых, и я нигде не бываю.

Шагов триста молодые люди прошли молча. Огнев поглядывал на открытую голову и платок Верочки, и в душе его один за другим воскресали весенние и летние дни; то было время, когда вдали от своего серого петербургского номера, наслаждаясь ласками хороших людей, природой и любимым трудом, не успевал он замечать, как утренние зори сменялись вечерними и как один за другим, пророча конец лета, переставали петь сначала соловей, потом перепел, а немного позже коростель... Время летело незаметно, значит, жилось хорошо и легко... Стал он припоминать вслух о том, с какою неохотой он, небогатый, непривычный к движениям и людям, в конце апреля ехал сюда в N-ский уезд, где ожидал встретить скуку, одиночество и равнодушие к статистике, которая, по его мнению, среди наук занимает теперь самое

видное место. Приехав апрельским утром в уездный городишко N., он остановился на постоялом дворе старовера Рябухина, где за двугривенный в сутки ему дали светлую и чистую комнату с условием, что курить он будет на улице. Отдохнув и справившись, кто в уезде состоит председателем земской управы, он немедленно пошел пешком к Гавриилу Петровичу. Пришлось идти четыре версты роскошными лугами и молодыми рощами. Под облаками, заливая воздух серебряными звуками, дрожали жаворонки, а над зеленеющими пашнями, солидно и чинно взмахивая крыльями, носились грачи.

Господи, удивлялся тогда Огнев, неужели тут всегда дышат таким воздухом, или это так пахнет только сегодня, ради моего приезда?

Ожидая сухого делового приема, к Кузнецовым вошел он несмело, глядя исподлобья и застенчиво теребя свою бородку. Старик сначала морщил лоб и не понимал, зачем это молодому человеку и его статистике могла понадобиться земская управа, но когда тот пространно объяснил ему, что такое статистический материал и где он собирается, Гавриил Петрович оживился, заулыбался и с ребяческим любопытством стал заглядывать в его тетрадки... Вечером того же дня Иван Алексеич уже сидел у Кузнецовых за ужином, быстро хмелел от крепкой наливки и, глядя на покойные лица и ленивые движения своих новых знакомых, чувствовал во всем своем теле сладкую, дремотную лень, когда хочется спать, потягиваться, улыбаться. А новые знакомые благодушно оглядывали его и спрашивали, живы ли у него отец и мать, сколько он зарабатывает в месяц, часто ли бывает в театрах... Припомнил Огнев свои разъезды по волостям, пикники, рыбные ловли, поездку всем обществом в девичий монастырь к игуменье Марфе, которая каждому из гостей подарила по бисерному кошельку, припомнил горячие, нескончаемые, чисто русские споры, когда спорщики, брызжа и стуча кулаками по столу, не понимают и перебивают друг друга, сами того не замечая, противоречат себе в каждой фразе, то и дело меняют тему и, поспорив часа два-три, смеются:

Чёрт знает, из-за чего мы спор подняли! Начали о здравии, а кончили за упокой!

А помните, как я, вы и доктор ездили верхом в Шестово? говорил Иван Алексеич Вере, подходя с нею к лесу. Тогда еще нам юродивый встретился. Я дал ему пятак, а он три раза перекрестился и бросил мой пятак в рожь. Господи, столько я увожу с собой впечатлений, что если бы можно было собрать их в компактную массу, то получился бы хороший слиток золота! Не понимаю, зачем это умные и чувствующие люди теснятся в столицах и не идут сюда? Разве на Невском и в больших сырых домах больше простора и правды, чем здесь? Право, мне мои меблированные комнаты, сверху донизу

начиненные художниками, учеными и журналистами, всегда казались предрассудком.

В двадцати шагах от леса через дорогу лежал небольшой узкий мостик со столбиками по углам, который всегда во время вечерних прогулок служил Кузнецовым и их гостям маленькой станцией. Отсюда желающие могли дразнить лесное эхо и видно было, как дорога исчезала в черной просеке. Ну, вот и мостик! сказал Огнев. Тут вам поворачивать назад...

Вера остановилась и перевела дух.

Давайте посидим, сказала она, садясь на один из столбиков. Перед отъездом, когда прощаются, обыкновенно все садятся.

Огнев примостился возле нее на своей вязке книг и продолжал говорить. Она тяжело дышала от ходьбы и глядела не на Ивана Алексеича, а куда-то в сторону, так что ему не видно было ее лица.

И вдруг лет через десять мы встретимся, говорил он. Какие мы тогда будем? Вы будете уже почтенною матерью семейства, а я автором какого-нибудь почтенного, никому не нужного статистического сборника, толстого, как сорок тысяч сборников. Встретимся и вспомняем старину... Теперь мы чувствуем настоящее, оно нас наполняет и волнует, а тогда, при встрече, мы уж не будем помнить ни числа, ни месяца, ни даже года, когда виделись в последний раз на этом мостике. Вы, пожалуй, изменитесь... Послушайте, вы изменитесь?

Вера вздрогнула и повернулась к нему лицом.

Что? спросила она.

Я вас спрашивал сейчас...

Простите, я не слышала, что вы говорили.

Тут только Огнев заметил в Вере перемену. Она была бледна, задыхалась, и дрожь ее дыхания сообщалась и рукам, и губам, и голове, и из прически выбивался на лоб не один локон, как всегда, а два... Видимо она избегала глядеть прямо в глаза и, стараясь замаскировать волнение, то поправляла воротничок, который как будто резал ей шею, то перетаскивала свой красный платок с одного плеча на другое...

Вам, кажется, холодно, сказал Огнев. Сидеть в тумане не совсем-то здорово. Давайте-ка я провожу вас нах гауз2.

Вера молчала.

Что с вами? улыбнулся Иван Алексеич. Вы молчите и не отвечаете на вопросы. Нездоровы вы или сердитесь? А?

Вера крепко прижала ладонь к щеке, обращенной в сторону Огнева, и тотчас же резко отдернула ее.

Ужасное положение... прошептала она с выражением сильной боли на лице. Ужасное!

Чем же оно ужасное? спросил Огнев, пожимая плечами и не скрывая своего удивления. В чем дело?

Всё еще тяжело дыша и вздрагивая плечами, Вера повернулась к нему спиной, полминуты глядела на небо и сказала:

Мне нужно поговорить с вами, Иван Алексеич...

Я слушаю.

Вам, может быть, покажется странным... вы удивитесь, но мне всё равно...

Огнев еще раз пожал плечами и приготовился слушать.

Вот что... начала Верочка, наклоня голову и теребя пальцами шарик платка.

Видите ли, я вам вот что... хотела сказать... Вам покажется странным и... глупым, а я... я больше не могу.

Речь Веры перешла в неясное бормотанье и вдруг оборвалась плачем.

Девушка закрыла лицо платком, еще ниже нагнулась и горько заплакала.

Иван Алексеич смущенно крикнул и, изумляясь, не зная, что говорить и делать, безнадежно поглядел вокруг себя. От непривычки к плачу и слезам у него у самого зачесались глаза.

Ну, вот еще! забормотал он растерянно. Вера Гавриловна, ну к чему это, спрашивается? Голубушка, вы... вы больны? Или вас кто обидел? Вы скажите, быть может, я того... сумею помочь...

Когда он, пытаясь утешить ее, позволил себе осторожно отнять от ее лица руки, она улыбнулась ему сквозь слезы и проговорила:

Я... я люблю вас!

Эти слова, простые и обыкновенные, были сказаны простым человеческим языком, но Огнев в сильном смущении отвернулся от Веры, поднялся и вслед за смущением почувствовал испуг.

Грусть, теплота и сентиментальное настроение, навеянные на него прощанием и наливкой, вдруг исчезли, уступив место резкому, неприятному чувству неловкости. Точно перевернулась в нем душа, он косился на Веру, и теперь она, после того как, объяснившись ему в любви, сбросила с себя неприступность, которая так красит женщину, казалась ему как будто ниже ростом, проще, темнее.

Что же это такое? ужаснулся он про себя. Но ведь я же ее... люблю или нет? Вот задача-то!

А она, когда самое главное и тяжелое наконец было сказано, дышала уже легко и свободно. Она тоже поднялась и, глядя прямо в лицо Ивана Алексеича, стала говорить быстро, неудержимо, горячо.

Как человек, внезапно испуганный, не может потом вспомнить порядка, с каким чередовались звуки ошеломившей его катастрофы, так и Огнев не помнит слов и фраз Веры. Ему памятли только содержание ее речи, она сама

и то ощущение, которое производила в нем ее речь. Он помнит как будто придушенный, несколько сиплый от волнения голос и необыкновенную музыку и страстность в интонации. Плача, смеясь, сверкая слезинками на ресницах, она говорила ему, что с первых же дней знакомства он поразил ее своею оригинальностью, умом, добрыми, умными глазами, своими задачами и целями жизни, что она полюбила его страстно, безумно и глубоко; что когда, бывало, летом она входила из сада в дом и видела в передней его крылатку или слышала издали его голос, то сердце ее обливалось холодком, предчувствием счастья; его даже пустые шутки заставляли ее хохотать, в каждой цифре его тетрадок она видела что-то необыкновенно разумное и грандиозное, его суковатая палка представлялась ей прекрасней деревьев. И лес, и туманные клочья, и черные канавы по бокам дороги, казалось, притихли, слушая ее, а в душе Огнева происходило что-то нехорошее и странное... Объясняясь в любви, Вера была пленительно хороша, говорила красиво и страстно, но он испытывал не наслаждение, не жизненную радость, как бы хотел, а только чувство сострадания к Вере, боль и сожаление, что из-за него страдает хороший человек. Бог его знает, заговорил ли в нем книжный разум, или сказалась неодолимая привычка к объективности, которая так часто мешает людям жить, но только восторги и страдание Веры казались ему приторными, несерьезными, и в то же время чувство возмущалось в нем и шептало, что всё, что он видит и слышит теперь, с точки зрения природы и личного счастья, серьезнее всяких статистик, книг, истин... И он злился и винил себя, хотя и не понимал, в чем именно заключается вина его.

В довершение неловкости он решительно не знал, что ему говорить, а говорить было необходимо. Сказать прямо я вас не люблю ему было не под силу, а сказать да он не мог, потому что, как ни рылся, не находил в своей душе даже искорки...

Он молчал, а она между тем говорила, что для нее нет выше счастья, как видеть его, идти за ним, хоть сейчас, куда он хочет, быть его женой и помощницей, что если он уйдет от нее, то она умрет с тоски...

Я не могу здесь оставаться! сказала она, ломая руки. Мне опостытели и дом, и этот лес, и воздух. Я не выношу постоянного покоя и бесцельной жизни, не выношу наших бесцветных и бледных людей, которые все похожи один на другого, как капли воды! Все они сердечны и добродушны, потому что сыты, не страдают, не борются... А я хочу именно в большие, сырые дома, где страдают, ожесточены трудом и нуждой...

И это казалось Огневу приторным и несерьезным. Когда Вера кончила, он всё еще не знал, что говорить, но молчать нельзя было, и он забормотал:

Я, Вера Гавриловна, очень благодарен вам, хотя чувствую, что ничем не

заслужил такого... с вашей стороны... чувства. Во-вторых, как честный человек, я должен сказать, что... счастье основано на равновесии, то есть когда обе стороны... одинаково любят...

Но тотчас же Огнев устыдился своего бормотания и замолчал. Он чувствовал, что в это время лицо у него было глупо, виновато, плоско, что оно было напряжено и натянуто... Вера, должно быть, сумела прочесть на его лице правду, потому что стала вдруг серьезной, побледнела и поникла головой. Вы извините меня, пробормотал Огнев, не вынося молчания. Я вас настолько уважаю, что... мне больно!

Вера резко повернулась и быстро пошла назад к усадьбе. Огнев последовал за ней.

Нет, не надо! сказала Вера, махнув ему кистью руки. Не идите, я сама дойду... Нет, все-таки... нельзя не проводить...

Что ни говорил Огнев, всё до последнего слова казалось ему отвратительным и плоским. Чувство вины росло в нем с каждым шагом. Он злился, сжимал кулаки и проклинал свою холодность и неумение держать себя с женщинами. Стараясь возбудить себя, он глядел на красивый стан Верочки, на ее косу и следы, которые оставляли на пыльной дороге ее маленькие ножки, припоминал ее слова и слезы, но всё это только умиляло, но не раздражало его души.

Ах, да нельзя же насильно полюбить! убеждал он себя и в то же время думал: Когда же я полюблю не насильно? Ведь мне уже под 30! Лучше Веры я никогда не встречал женщин и никогда не встречу... О, собачья старость! Старость в 30 лет!

Вера шла впереди него всё быстрее и быстрее, не оглядываясь и поникнув головой. Ему казалось, что с горя она осунулась, сузилась в плечах...

Воображаю, что творится теперь у нее на душе! думал он, глядя ей в спину. Небось, и стыдно, и больно до того, что умирать хочется! Господи, столько во всем этом жизни, поэзии, смысла, что камень бы тронулся, а я... я глуп и нелеп!

У калитки Вера мельком взглянула на него и, согнувшись, кутаясь в платок, быстро пошла по аллее.

Иван Алексеич остался один. Возвращаясь назад к лесу, он шел медленно, то и дело останавливался и оглядывался на калитку с таким выражением во всей своей фигуре, как будто не верил себе. Он искал глазами по дороге следов Верочкиных ног и не верил, что девушка, которая так нравилась ему, только что объяснилась ему в любви и что он так неуклюже и топорно отказал ей! Первый раз в жизни ему приходилось убедиться на опыте, как мало зависит человек от своей доброй воли, и испытать на себе самое положение порядочного и сердечного человека, против воли причиняющего своему

ближнему жестокие, незаслуженные страдания.

У него болела совесть, а когда скрылась Вера, ему стало казаться, что он потерял что-то очень дорогое, близкое, чего уже не найти ему. Он чувствовал, что с Верой ускользнула от него часть его молодости и что минуты, которые он так бесплодно пережил, уже более не повторятся.

Дойдя до мостика, он остановился и задумался. Ему хотелось найти причину своей странной холодности. Что она лежала не вне, а в нем самом, для него было ясно. Искренно сознался он перед собой, что это не рассудочная холодность, которую так часто хващают умные люди, не холодность себялюбивого глупца, а просто бессилие души, неспособность воспринимать глубоко красоту, ранняя старость, приобретенная путем воспитания, беспорядочной борьбы из-за куска хлеба, номерной бессемейной жизни. С мостика он медленно, словно нехотя, пошел в лес. Здесь, где на черных, густых потемках там и сям обозначались резкими пятнами проблески лунного света, где он ничего не ощущал, кроме своих мыслей, ему страстно захотелось вернуть потерянное.

И помнит Иван Алексеич, что он опять вернулся. Подзадоривая себя воспоминаниями, рисуя насильно в своем воображении Веру, он быстро шагнул к саду. По дороге и в саду тумана уже не было, и ясная луна глядела с неба, как умытая, только лишь восток туманился и хмурился... Помнит Огнев свои осторожные шаги, темные окна, густой запах гелиотропа и резеды. Знакомый Каро, дружелюбно помахивая хвостом, подошел к нему и понюхал его руку... Это было единственное живое существо, видевшее, как он два раза прошелся вокруг дома, постоял у темного окна Веры и, махнув рукой, с глубоким вздохом пошел из сада.

Через час уже он был в городке и, утомленный, разбитый, прислонившись туловищем и горячим лицом к воротам постоянного двора, стучал скобкой. Где-то в городке спросонок лаяла собака, и точно в ответ на его стук около церкви зазвонили в чугунную доску...

Шляешься по ночам... ворчал хозяин-старовер в длинной, словно женской сорочке, отворяя ему ворота. Чем шлаться-то, лучше бы богу молился.

Войдя к себе в комнату, Иван Алексеич опустился на постель и долго-долго глядел на огонь, потом встряхнул головой и стал укладываться...

свиданием (франц. rendez-vous).2

домой (нем. nach Hause).